

25 СЕН 1974.

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОДЕЦ
г. МОСКВАНАРОДНЫЙ АРТИСТ
СССР
ЮРИЯ НИКУЛИНПечатается
с продолжением

На рынке мне как-то купили трех уток. Трех аляповатых уток из воска. Они мне очень понравились. Пришли мы домой. Я поставил уток на плиту и вдруг смотрю, а их нет, только капельки какие-то остались. Воск-то растаял в две секунды. Конечно, реву была. Но на другой день мне купили новых. Они красиво плавали в тарелке с водой.

До сих пор у мамы стоит глиняная кошка-копилка. Вся голова исцарапана, потому что часто ножницами из дырочек я вытряхивал монетки на кино.

Эта обшарпанная гипсовая кошка мало похожа на ту, которую мы купили около пятидесяти лет назад на Немецком рынке, но это именно та кошка.

Когда в 1946 году я демобилизовался с войны и вернулся домой, то я маму не узнал. Она похудела и стала вся белая.

— Мама, ты прямо с плаката «Родина-мать зовёт!», — сказал я тогда.

В годы войны мама рыла окопы, потом работала на эвакуационном пункте, возила раненых. После войны мама устроилась диспетчером в Институт скорой помощи имени Склифосовского, где и проработала до пенсии.

Поразительное качество матери — общительность. Если отец сходил с людьми трудно, то мать легко находила общий язык с любым человеком.

Работая в Москве, я почти ежедневно захожу к маме. К сожалению, получается, что в Москве я бываю в среднем два с половиной месяца в году. Гастроли, съемки в фильмах заставляют меня часто уезжать.

Мама любит меня, и ее любовь поддерживает меня в самые трудные моменты жизни до сих пор.

Отец постоянно придумывал со мной смешные игры. Любил петь. Лежим мы с ним на кровати и поем. В толстой конторской тетради рукой отца было переписано около четырехсот русских народных песен. Все их я знал наизусть. Причем мотив песен частенько мы придумывали сами.

Бывали случаи, что отец начинал по вечерам громко петь.

— Володя, что ты делаешь! — возмущалась мать. — Все же спать!

— Уже не спят, — говорил, смеясь, отец, но петь прекращал.

Часто я слышал в его исполнении стихи. Он любил Лермонтова, Асеева, Фета, Есенина, Маяковского.

В школе я серьезно занимался театром. И клоуна я впервые сыграл в школьном спектакле. Отец написал клоунаду для меня и для моего товарища по классу. В тексте использовались школьные темы.

Остался в памяти и вечер, посвященный Горькому, подготовленный и поставленный отцом. Он проходил у нас в школе. Мы ставили «Детство» Горького. Я играл Алешу Пешкова. Выходил с книгой сказок Андерсена и начинал читать сказку «Соловей», которую любил в детстве Горький. «В Китае все жители китайцы и сам император китаец», и дальше шла инсценировка.

Не знаю почему, но в дни подготовки к вечеру я мечтал, что к нам в школу придет Горький, посмотрит нашу инсценировку и прямо ахнет, и скажет: «Как здорово этот мальчик сыграл Горького. Верно, я был таким».

Играть Горького мне нравилось. Конечно, я не говорил на «о» и вообще оставался самим собой. Просто я представил себе — я маленький Горький.

Инсценировка прошла хорошо, но Горький на наш вечер не пришел.

Отец поставил в нашей школе много спектаклей. Делал это он увлеченно, азартно, не прося, конечно, ни копейки денег. Он любил театр и детей. Именно школьный театр отвлекал нас от улицы, именно школьный театр развивал у нас вкус, любовь к книгам, к искусству.

В детстве у меня были свои боги. Среди них — певцы: Лемешев, Козловский, артист кино Михаил Жаров.

Как-то шел я по улице где-то в центре Москвы и вдруг увидел живого Михаила Жарова. Пять улиц я за ним шел. Смотрел влюбленными глазами. Артистов я считал людьми удивительными, недостижимыми.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, СОФЬЯ КРОКОДИЛОНА

До седьмого класса я учился в 16-й школе, которая была дальше 346-й школы-новостройки, ребята с нашего двора занимались в новостройке, и они меня уговорили «по-смешному» здороваться с их немкой Софьей Никодимовной.

К восторгу своих товарищей, я встречал у ворот нашего дома полную женщину с портфелем, идущую неторопливой походкой по переулку, и, кланяясь низко, церемонно ей говорил:

— Здравствуй, Софья Крокодилонна!

Все ребята хохотали, спрятавшись за забором.

Не знал я тогда, что встречу с ней на уроках, когда через два года перейду заниматься в 346-ю школу.

Конечно, Софья Никодимовна меня запомнила, потому что здоровался я с ней (к удовольствию всех дворовых ребят) много раз. И, может быть, поэтому, а скорее всего, просто потому, что я плохо знал немецкий язык, у меня возникли на ее уроках трудности.

Отец, успокаивая меня, как-то пошутил:

— А ты особенно не огорчайся. Возьми и скажи ей, что немецкий учить незачем. Если же будет война с Германией, так мы особенно с ними «разговаривать» не будем.

Я последовал совету отца. На одном из уроков Софья Никодимовна мне сказала (после того как я долго не мог ответить на ее вопросы):

— Ну почему ты ничего не учишь, Никулин?

— А зачем мне, — говорю я, — знать немецкий?

— А вдруг война начнется?

— А мы тогда, — отвечаю я, — разговаривать с ними особенно и не будем.

Класс грохнул от хохота, а учительница обиделась.

Когда я чувствовал, что меня могут вызвать, а уроки не выучены, то я прогуливал.

За прогулы наказывали. И тогда я придумал новый способ. Во время учительской проверки, кто присутствует на уроке, а кто отсутствует, я прятался под парту.

— Никулин, — спрашивал учитель, проверяя список по журналу.

— Нет его, нет. Он болен, — кричал я, изменяя голос из-под парты.

Учитель делал в классном журнале пометку о моей болезни. Зная, что теперь меня не вызовут к доске, я вылезал из-под парты и сидел на уроке.

Правда, однажды историк вдруг посмотрел на меня и, не поверив своим глазам, спросил:

— Слушай, Никулин, тебя же нет, как ты появился?

— Что вы, Тихон Васильевич, — я старался говорить как можно увереннее, — я все время здесь, на уроке.

В классе круговая порука, поэтому все с разных мест подтверждали «правоту» моих слов.

И тогда на всякий случай меня пересадили за первую парту перед учительским столом.

Всякое бывало в школе. Меня даже хотели исключить на две недели. Произошло это так.

(Начало см. в № 224).

95